

СЕСАР ВАЛЬЕХО

(1892 — 1938)

Из книги «Trilce» (1922)

II

Время Время.

Полдень застоялся между росами.
Насос казармы заунывно перекачивает
время время время время.

Было Было.

Петухи распелись понапрасну.
Уста безоблачного дня спрягают
было было было было.

Завтра Завтра.

Обжигающая передышка бытия.
Этот день решил меня оставить на
завтра завтра завтра завтра.

Имя Имя.

Кто зовётся стоном наших ран?
Темжесамым звался тот кто вынес
имя имя имя имя.

IX

Я вновь ищщу внезапных наваждений.
Её широкие листы, её заслонка,
приоткрывающая аппетитный вход
для умножения и умножаемого,
её прекрасная готовность к удовольствию, —
всё предназначено для истины.

Я вновь ищу внезапных наваждений.
Чтоб угодить её неведомым желаньям,
я восхожу на боливийские вершины,

сжимаются — ещё, ещё, ещё —
 её невиданные губы, её двухтомные Труды,
 а я уже ни жив ни мёртв — то исчезая,
 то возвращаясь.

Мне не найти внезапных наваждений.
 Не оседлать бычка. Я истекаю слизью
 эгоизма в смертельном трении
 о простыни
 с тех пор, как появилась эта женщина.
 Увы, какая тяжесть!

И самкой кажется душа ушедшей.
 И самкой кажется моя душа.

LXXV

Вы мертвы.

Какой странный способ быть мёртвыми. Кто-нибудь скажет, что это неправда. Но на самом деле вы мертвы, мертвы.

Вы плывёте по ту сторону мембраны, свисающей из зенита в надир, она приходит из темноты и уходит в темноту, раскачиваясь перед гулким резонатором этой раны, которая не тревожит вас своей болью. Я говорю вам, жизнь — это отражение в зеркале, а вы — оригинал, смерть.

Волна приходит и волна уходит, но каким безнаказанным остаётся мертвец! И только когда воды разбиваются о переднюю стенку, сплющиваясь и перегибаясь, лишь тогда вы преображаетесь и, уверовав в смерть, различаете басовую струну, но она уже не ваша.

Вы мертвы, и никогда не жили прежде. Кто-нибудь скажет, что если не сейчас, то ведь когда-то вы были живы. Но на самом деле вы уже были трупами в той жизни, которой никогда не было. Печальная судьба — всегда быть мёртвыми, и никогда живыми. Иссохший лист, который никогда не был живым. Сиротство из сиротств. Мёртвые не могут быть даже трупами в такой жизни, которая до сих пор не жила. Они пожизненно мертвы.

Вы мертвы.

«Nómina de huesos» // «Поверка праха» (1929)

В здоровом рассудке

— Есть, мама, в мире город, что зовётся Парижем. Город огромный и далёкий, и ещё раз огромный.

Моя мать приподнимает мне воротник пальто, и не потому что пахнуло снегом, но чтобы пахнуло снегом.

Жена моего отца влюблена в меня; повернувшись спиной к моему рождению, она идёт навстречу моей смерти. Я принадлежу ей дважды: когда прощаюсь и когда возвращаюсь. Я запираю её, вернувшись. Поэтому мне столько готовы дать её глаза, оценивающие меня, уличающие меня, когда я завершаю свои труды и привожу свои дела в порядок.

Моя мать исповедуется мной, она гордится мной. Почему же она не такова с другими моими братьями? Вот Виктор, самый старший, он уже так постарел, что люди говорят: «Он словно младший брат своей матери». Не потому ли, что я больше других странствовал? Не потому ли, что я больше других пережил?

Моя мать соглашается с письмом, в котором я красочно расписываю своё возвращение. Перед самым моим приездом ей вспоминается время двух сердец внутри её тела, и она краснеет, а затем смертельно бледнеет, когда читает в моём трактате о душе: «Той ночью я был счастлив». Её это лишь печалит; её это может лишь опечалить.

Сынок, как ты постарел!

И слёзы стекают по желтизне, ведь она обнаружила, что я старею, прочитав это в линиях моей спины, в чертах моего лица. Она оплакивает меня, она тоскует обо мне. Что ей моё возмужание, если я навсегда остаюсь её сыном? Почему матери испытывают боль, обнаружив, что их сыновья стареют, если возраст сыновей никогда не сравняется с материнским? Почему, если с приближением конца дети становятся ближе к родителям?

Моя мать плачет, потому что я состарился в своём времени, а в её времени я никогда не состарюсь!

Прощаясь, я уходил из одной точки её бытия, а возвращаюсь в другую, лежащую гораздо глубже. Я отсутствовал так долго, что теперь для своей матери я более мужчина, чем сын. Отсюда и невинность, озарившая нас сегодня тремя языками пламени. Я снова повторяю, одно и то же:

— Есть, мама, в мире город, что зовётся Парижем. Город огромный и далёкий, и ещё раз огромный.

Жена моего отца слушает меня за завтраком, и её смертный взгляд нежно скользит по моим рукам.

Насилие времени

Умерли все.

Умерла донья Антония, сварливая бабёнка, жившая в предместье и выпекавшая дешёвый хлеб.

Умер священник Сантьяго, которому нравилось, когда с ним здоровались молодые парни и девушки, а он отвечал им всегда одинаково: «Добрый день, Хосе! Добрый день, Мария!»

Умерла молодая блондинка, Карлота, оставив грудного ребёнка, который тоже умер через восемь дней после своей матери.

Умерла моя тётя Альбина, имевшая привычку расхваливать прежние времена и нравы, когда она сидела в галерее и шила для служанки Исидоры, достойнейшей женщины.

Умер одноглазый старик, имени которого я не помню; помню только, как он дремал на утреннем солнце, сидя рядом со входом в мастерскую жестянщика, что на углу.

Умер Райо, пёс с меня ростом, раненный бог знает чьим выстрелом.

Умер Лукас, мой шурин, о котором я вспоминаю, когда идёт дождь и моё внимание ничем больше не занято.

Умерла в моём револьвере моя мать, в моём кулаке моя сестра, и мой брат в моих окровавленных потрохах — три связи с моим родом, скорбным из скорбных — в августе месяце, год за годом, три лета подряд.

Умер Мендес, высокий и вечно пьяный музыкант, исполнявший на своём кларнете меланхолические токкаты, под которые курицы с нашего двора засыпали ещё до захода солнца.

Умерла моя вечность, и я сижу у её гроба.

Ослабев от её выпивки

И кто бы нас только пожалел, когда отец велел нам идти в школу! Исцелённая от любви, дождливым февральским вечером, мама готовила на кухне пищу вечерней молитвы. В нижней галерее сидели за столом мой отец и мои старшие братья. Моя мать присела погреться у пламени очага. В дверь постучали.

— Стучат в дверь! — это моя мать.

— Стучат в дверь! — это моя родная мать.

— Стучат в дверь! — это кричит моя родная мать, всем нутром, на бесконечные лады, сообщая всем и каждому, что кто-то пришёл.

— Натива, дочка, пойди посмотри, кто там пришёл.

И тут Мигель, сынок, тоже захотел посмотреть, кто там пришёл, не спрашивая материнского позволения, противопоставив себя всем остальным.

Уличная слякоть удержала моё семейство на месте. Мама вышла, вернулась обратно и будто произнесла: какой позор! Где-то снаружи появился двор. Натива плакала — от таких гостей, от такого двора и от тяжёлой руки моей матери. Как прежде, так и после, кровлей нашего дома служили боль и её привкус во рту.

— Ну зачем Мигелю разрешили выйти на улицу, — это Натива, дочка, — ведь он толкнул меня к индюку. К своему индюку.

Вот она, правота градоправителя, правота отца, перед которой ребёнок обнажён до самых кончиков пальцев! Она готова всучить тебе такой подарок, о котором ты сам не скоро попросишь. И всё-таки:

— А завтра в школу, — изрёк отец, поучая своих отпрысков, игравших в этом спектакле роль еженедельной паствы.

Таковы закон и буква закона. И такова жизнь.

Мама невольно заплакала, только что не запричитала, всё-таки мать. Есть никому не хотелось. Во рту у отца застряла, готовая сломаться, изысканная ложка. Горечь сыновнего восхищения переполнила рты моих братьев, да там и осталась.

И тут неожиданно, из водостока, по которому дождевая вода текла с того самого двора с недобрыми гостями, вылезла курица, не соседская и не наша несушка, но дикая и чёрная. Что-то закудахтало в моём горле. Это была старая курица, у неё не было цыплят, они так и не вылупились. Забытое порождение этой минуты, вдовая курица без детей. Все яйца оказались пустыми. Это уже потом наседка породила слово.

Никто её не прогнал. А прогнав, никто не задрожал великой материнской дрожью.

— Где они, дети старой курицы?

Где они, цыплята старой курицы?

Бедненькие! Где же им быть?!

Конец одной жизни

Окна задрожали, перерабатывая метафизику вселенной. Кое-где повывлетели стёкла. Большой застонал, и этот стон наполовину вышел из его рта, косноязычного и бесполезного, и весь целиком — из заднего прохода.

Это ураган. Какой-нибудь каштан в саду Тюильри наверняка уже повалился под напором ветра, достигающего восьмидесяти метров в секунду. Шпили старых домов начали обрушиваться, растрескиваться, ломаться.

Из каких краёв, слышимый по обе стороны океана, из каких неведомых краёв приходит этот ураган, столь заслуживающий доверия, столь ревностно возвращающий свои долги, прямо к окнам больницы? О, эта натянутая струна, вибрирующая между ураганом и той болью, которую вызывают кашель и испражнения! О, эта натянутая струна, удерживающая смерть на пороге больницы и так не вовремя пробуждающая клеточную ткань мертвецов!

Что бы подумал больной, который спит сейчас на соседней койке, если бы он мог воспринять этот ураган? Бедняга спит с открытым ртом, его голова находится во власти морфия, и разумная часть его души опустилась к ступням. Малейшее отклонение в дозе, и его отправят в могилу, вскрыют живот, и врачи по своему обыкновению будут долго мудрствовать, прежде чем произнесут простые человеческие слова.

Семья окружила больного, склонившись над его висками, бледными, беззащитными, вспотевшими. У них нет иного очага, кроме тумбочки заболевшего родственника, где дежурят нетерпеливые сиделки, а ещё здесь стоят его ботинки и лежат запасные кресты и таблетки снотворного. Семья окружила столик на расстоянии высокого разъединения. Женщина поставила на край стола чашку, и она вот-вот упадёт.

И какая разница, кем приходится больному эта женщина, если она целует его и не может исцелить своим поцелуем, если она глядит на него и не может исцелить своим

взглядом, если она говорит с ним и не может исцелить своим словом. Это его мать? Что с того, раз она не может его исцелить? Это его сестра? Что с того, раз она не может его исцелить? Это просто какая-то женщина? Что с того, раз она не может его исцелить? Ведь эта женщина поцеловала его, взглянула на него, поговорила с ним, потом поправила одеяло и — подумать только! — всё-таки не исцелила его.

Больной рассматривает свои ботинки. Они пропахли сыростью. Они перепачканы землёй. Смерть улеглась на полу рядом с кроватью, чтобы подремать в своих спокойных водах, да так и заснула. А в это время разутые ноги больного, свободные от мелочной обуви, растянулись облегчённым ударением и, словно двое новобрачных, отделились от его сердца.

Врач часами прослушивает своих пациентов. Его руки уже не работают, а играют, они двигаются на ощупь, едва касаясь кожи больных, его учёные веки дрожат, соприкасаясь с незнанием, с человеческой хрупкостью любви. Я видел, как эти больные умирали именно от любви, исходившей от врачей, от продолжительных обследований, от точно отмеренных доз, от неукоснительного анализа кала и мочи. Койка неожиданно отгораживается ширмой. Врачи и больные проходят перед отсутствующим, перед скорбной и близкой аспидной доской, которую ребёнок заполняет цифрами, великим единством бледных нулей. Они проходят, поглядывая на других, как если бы самым непоправимым было умереть от аппендицита или пневмонии, а не умереть, отклонившись от общего людского пути.

Состоящая на службе у религии, эта муха радостно пролетает по палате как раз во время врачебного обхода, её жужжание отпускает наши грехи, а затем, распространяясь всё дальше и дальше, оно завладевает воздухом, чтобы с жаром осуществившейся перемены приветствовать тех, кто готовится умереть. Некоторые больные слышат эту муху, пока длится их боль, и от них зависит происхождение жутких ночных выстрелов.

Как долго длилось это обезболивание, о котором так просят люди? О богословие, о теодицея! Я всё-таки жив в этих условиях, под общим наркозом, загнавшем мою чувствительность вовнутрь! Ах, кабинетные доктора, избранные из избранных, знатоки основ! Я прошу вас, оставьте мне опухоль моего сознания, мою раздражённую чувствительную проказу, и будь что будет, даже если я и умру! Оставьте мне мою боль, если вам этого хочется, но главное — оставьте меня пробудившимся ото сна в этой изобильной вселенной, пусть даже я и отправлюсь к чёрту на своём пыльном термометре.

Будучи здоровым, я смеялся над этой перспективой страданий, а теперь, оказавшись в той же самой плоскости и сдвинув карточную колоду, я для создания контрапункта отбиваюсь ещё одной улыбкой.

Здесь, в доме скорби, стоны сталкиваются с синкопами великого композитора, а отбитые горлышки характера ранят нас своей жестокой истиной и, во исполнение обещанного, огорчают ужасающей неопределённостью.

Здесь, в доме скорби, стенание отвоевало себе непомерно большую территорию. И уже не узнать себя в этом скорбном стоне, в причитаниях собственной возвышенной

речи, когда любовь и плоть освобождаются от надзора, и когда, вернувшись, обнаруживаешь достаточно разногласий, чтобы заняться поисками общего языка.

И где же находится другая сторона этого скорбного стона, если он слышен сейчас во всей своей полноте со стороны человеческого ложа?

Из дома скорби доносятся глухие и невыразимые стоны, и они преисполнены такой полноты, что становится ясно: о них не стоит рыдать, а лучше будет просто улыбнуться.

Кровь забурлила в термометре.

Совсем не сладко умирать, сеньор, когда в жизни ничего не остаётся, а по ту сторону смерти не может случиться ничего, кроме того, что осталось в жизни!

Совсем не сладко умирать, сеньор, когда в жизни ничего не остаётся, а по ту сторону смерти не может случиться ничего, кроме того, что могло бы остаться в жизни!

Я буду говорить о надежде

Я страдаю от этой боли не как Сесар Вальехо. Сейчас мне больно не как художнику, не как человеку и даже не как обыкновенному живому существу. Я страдаю от этой боли не как католик, не как магометанин и не как атеист. Сегодня я просто страдаю. И если бы меня звали не Сесар Вальехо, я страдал бы от этой же самой боли. Если бы я не был художником, я всё равно страдал бы от неё. Если бы я не был человеком или даже живым существом, я всё равно страдал бы от неё. Если бы я не был католиком, атеистом или магометанином, я всё равно страдал бы от неё. Сегодня я страдаю вплоть до самых глубин. Сегодня я просто страдаю.

Сейчас мне больно без объяснений. Моя боль так глубока, что у неё уже нет причины, ни недостатка в причинах. Что могло бы служить её причиной? И где найдётся что-нибудь настолько важное, что оно могло бы перестать быть её причиной? Ничто не служит её причиной; ничто не могло бы перестать быть её причиной. Но как зародилась эта боль, если не сама по себе? Моя боль рождена ветром севера и ветром юга, как неоплодотворённые яйца, которые сносят от ветра некоторые редкие птицы. Если бы умерла моя невеста, моя боль осталась бы той же самой. Если бы, в конце концов, вся жизнь пошла по-другому, моя боль осталась бы той же самой. Сегодня я страдаю вплоть до самых вершин. Сегодня я просто страдаю.

Я смотрю на боль голодающего и вижу, что его голод настолько сильно разнится с моим страданием, что если я уморю себя голодом, на моей могиле всегда вырастет хотя бы пучок травы. Так же обстоят дела и с влюблённым. Сколь животворна его кровь, чего не скажешь о моей, не имеющей источника и не находящей себе никакого употребления!

Ещё вчера я верил в то, что все вещи мира неизбежно разделяются на отцов и детей. Но моя нынешняя боль не относится ни к тем, ни к другим. Для заката ей не хватает спины, а для рассвета её грудь слишком велика; если её внести в темноту, она не даст света, и если её вынести на свет, она не отбросит тени. Я страдаю сегодня, потому что страдаю. Сегодня я просто страдаю.

Обретение жизни

Сеньоры! Сегодня я впервые осознал присутствие жизни. Сеньоры! Прошу вас на время оставить меня одного, чтобы я почувствовал запах этого ощущения жизни, устремляющегося, резкого и свежего, впервые восхитившего меня и сделавшего счастливым до слёз.

Моё блаженство порождено первозданностью моего чувства. Моё ликование вызвано тем, что раньше я не ощущал присутствия жизни. Я никогда его не ощущал. Тот, кто скажет, что я его ощущал, солжёт. Он солжёт, и эта ложь ранит меня настолько, что я сделаюсь несчастным. Моё блаженство порождено моей верой в персональное открытие жизни, и никто не сможет пойти против этой веры. Если же он это делает, пусть у него отсохнет язык, пусть он рухнет наземь грудой костей, и не сможет найти себе другую, чужую опору, чтобы предстать перед моим взором.

Никогда прежде у меня не было жизни. Никогда прежде мимо не проходили людские толпы. Никогда прежде у меня не было домов и проспектов, воздуха и горизонта. Если бы сегодня пришёл мой друг Перье, я бы сказал ему, что не знаком с ним и что нам надо начать всё заново. В самом деле, когда я был знаком с моим другом Перье? Сегодня нам довелось бы узнать друг друга впервые. Я попросил бы его уйти, вернуться и посмотреть на меня так, будто он видит меня, как это говорится, в первый раз.

Сегодня я никого и ничего не знаю. В чужой стране, где всё приобретает выразительность рождества, мне открылся свет неувядаемого Богоявления. Нет, сеньор. Не говорите об этом достойном господине. Вы не знакомы с ним, и его удивляет столь бесосновательное суждение. Не наступайте на этот камешек: ведь никому не известно, камень ли это, и может статься, вы провалитесь в пустоту. Будьте осторожны, ведь мы находимся в абсолютно незнакомом мире.

Как мало времени я живу! Моё рождение было таким недавним, что не найдётся меры, чтобы исчислить мой возраст. Будто я только что родился! Будто я ещё не жил! Господа: я такой маленький, что день с трудом помещается внутри меня!

Никогда прежде я не слышал шума грузовиков, везущих камни для большого строительства на бульваре Османа. Никогда прежде я не шагал впереди весны, говоря ей: «Если бы была иная смерть...» Никогда прежде я не видел, как солнце сияет над куполами базилики Сакре Кёр. Никогда прежде ко мне не подходил ребёнок и не смотрел на меня, разинув рот. Никогда прежде я не знал, что существуют одни врата, другие врата и сердечная песнь расстояний.

Оставьте меня! Жизнь открылась мне сейчас в полноте моей смерти.

Поверка праха

И властный голос приказал:

— Пусть он покажет разом две свои ладони.

Но это было невозможно.

— Пускай измерят путь, который он прошёл в слезах.

Но это было невозможно.

— Пускай он думает единственную мысль, покуда нуль останется нулём.

Но это было невозможно.

— Так пусть же он безумство совершит.

Но это было невозможно.

— Пусть между ним и ему подобным встанет множество людей, подобных им обоим.

Но это было невозможно.

— Пускай его сравнят с самим собой.

Но это было невозможно.

— Пусть назовут его по имени.

И это было невозможно.

Женщина...

Женщина с кроткими грудями, ради которых коровий язык возрождает могущество инстинкта. Сдержанный мужчина с волевым подбородком, готовый шагать от зари до зари с петлями сундуков. Младенец рядом с женщиной, лицом назад — животное право этой пары.

О, человеческое слово, свободное от прилагательных и причастий, склоняемое женщиной в её единственном женском занятии, даже среди тысячи голосов Сикстинской капеллы! О, подол её юбки и средоточие материнства, куда малыш кладёт руки и играет со складками, порой заставляя материнские глаза расширяться, словно от наказаний, наложенных в исповедальне!

Мне так нравится, что здесь видны Отец, Сын и Дух Святой, со всеми присущими им знаками и эмблемами.

В доме никто уже не живёт...

В доме никто уже не живёт, — говоришь ты, — все ушли. Гостиная, спальня, дворик обезлюдели. Никого уже нет; ведь все разъехались.

А я говорю тебе: если кто-то уходит, то кто-то и остаётся. Место, по которому прошёл человек, уже не одиноко. Одиноки человеческим одиночеством лишь те места, где не проходил ни один человек. Новые дома мертвее старых, потому что их стены сложены из камня и железа, но не из людей. Дом появляется на свет не когда его завершают строить, но когда его начинают заселять. И живёт он единственно людьми, как и могила. Отсюда это непреодолимое сходство между домом и могилой. Разница между ними лишь в том, что дом питается жизнью человека, в то время как могила кормится его смертью. Поэтому дом — стоит, тогда как могила — распростёрлась.

В реальности все ушли из дома; однако в действительности все остались. И остаётся не память о них, но они сами. И даже не так, что они остаются в доме, но скорее так, что они по-прежнему пребывают в нём и через него. Действия и поступки покидают дом на поезде, на самолёте или на лошади, пешком или ползком. То, что по-прежнему пребывает в доме — это действующий орган, субъект герундия и обстоятельств. Ушли шаги; ушли поцелуи, прощения, преступления. То, что по-прежнему пребывает в доме — это ступни, губы, глаза, сердце. Отрицания и подтверждения, добро и зло рассеялись. То, что по-прежнему пребывает в доме — это субъект действия.

Обращение к герою

Есть один инвалид, но не войны, а мира, не сражений, а объятий. Он потерял своё лицо, и причиной тому была любовь, а не ненависть. Он потерял его в обыденной жизни, а не в катастрофе. Он потерял его в порядке природных вещей, а не в человеческом беспорядке. У полковника Пико, президента «Les gueules cassés», рот выжжен порохом 1914 года. А у этого калеки, моего знакомого, лицо опалено дыханием бесмертия и вечности.

Мёртвое лицо на живом теле. Застывшее лицо, пригвождённое к живой голове. Это лицо обернулось изнанкой черепа, стало черепом черепа. Однажды я видел дерево, повернувшееся ко мне спиной, а в другой раз я видел отвернувшуюся дорогу. Отвернувшееся дерево растёт лишь в таких местах, где никто никогда не рождался и не умирал. Отвернувшаяся дорога проходит лишь по таким местам, где налицо все смерти и нет ни одного рождения. Инвалид мира и любви, объятий и порядка, с мёртвым лицом на живом теле, он родился в тени отвернувшегося дерева, и его существование бредёт вдаль по отвернувшейся дороге.

И поскольку его лицо застыло и омертвело, вся психическая жизнь, всё животная сущность этого человека ушла в глубину, чтобы проявиться затем во внешности, в покрытом волосами черепе, в грудной клетке и конечностях. Его глубинные порывы выплёскиваются наружу в обход лица, и поэтому его дыхание, его обоняние, его взгляд, его способность слышать слова, человеческое сияние его существа действуют и выражают себя посредством груди и плеч, посредством волос и рёбер, посредством рук, ног и ступней.

У этого человека искалеченное, запломбированное, замкнутое лицо, и всё же он остаётся целостным и не имеет никаких изъянов. У него нет глаз, однако он видит и плачет. У него нет ноздрей, однако он различает запахи и дышит. У него нет ушей, однако он слышит. У него нет рта, однако он говорит и смеётся. У него нет лба, однако он размышляет и погружается в себя. У него нет подбородка, однако он выражает желания и поддерживает своё существование. Иисусу были известны инвалиды действия, те, кто имеет глаза и не видит, имеет уши и не слышит. Я же знаком с инвалидом тела, с тем, кто видит без глаз и слышит без ушей.

Нечто сближает тебя...

Нечто сближает тебя с тем, кто тебя покидает, и это — общая способность вернуться: отсюда и самая большая твоя тяжесть.

Нечто разделяет тебя с тем, кто остаётся с тобой, и это — общая порабощённость расставанием: отсюда и самые мелкие твои радости.

Выбрав эту форму, я обращаюсь к коллективным индивидуальностям, равно как и к индивидуальным коллективностям, а также к тем, кто застыл между теми и другими, вышагивая под музыку границ, иначе говоря, к тем, чьи следы протянулись недвижимой поступью по берегу мира.

Нечто абсолютно нейтральное, неумолимо нейтральное протиснулось между вором и его жертвой. Оно же распознаётся и в случае хирурга и пациента. Ужасный полумесяц, выпуклый и освещённый солнцем, дарует приют и тем, и другим. Украденная вещь сохраняет свою безразличную тяжесть, и оперируемый орган — своё скорбное сало.

И разве не безнадежнее всего на земле совершенная невозможность радостному человеку быть несчастным и доброму человеку быть злым?

Покидать! Оставаться! Возвращаться! Расставаться! Вся социальная механика заключена в этих словах.

Желание утихло...

Желание утихло, хвост по ветру. Обрублена жизнь, внезапно и беспричинно. Моя собственная кровь разбрызгивает меня по женскому контуру и растекается по городу, разглядывая то, что так неожиданно прекратилось.

— Что случилось с этим сыном мужчины? — восклицает город, и ребёнок плачет от страха в одном из залов Лувра перед портретом другого ребёнка.

— Что случилось с этим сыном женщины? — восклицает город, и прямо на ладони одной из статуй времён Людовиков вырастает пучок травы.

Желание утихло на высоте поднятой руки. И я скрываюсь внутри самого себя, подглядывая, спущусь ли я вниз или останусь мародёрствовать наверху.

Моя жизнь и моя смерть

Итак, я способен выразить не свою жизнь, но лишь свою смерть.

И теперь, на нижней ступени природной лестницы, рядом с воробьём, я засыпаю рука об руку со своей тенью.

Порождение достойного семени и родильного стога, я замер в размышлении, посреди неколебимого шествия времени.

И зачем нужна струна, если так бесхитростен воздух?

Сесар Вальехо, мелодия твоей любви, глагол твоего письма, ветерок твоего слуха знают о тебе лишь по вибрации голосовых связок.

Сесар Вальехо, умерь же свою смутную гордыню и уподи ничком на ложе змеиных узоров и шестигранных отражений.

Возвращайся в телесные соты, к их красоте; заткни оба входа благовонными пробками, укрывшись от злобных антропоидов; наконец, выставь наружу оленье рога неприязни; сопротивляйся боли.

Ведь нет ничего плотнее ненависти в пассивном залого, и нет такой груди, которая была бы скупее, чем эта любовь!

Ведь я уже не могу перемещаться иначе, чем на двух арфах!

Ведь меня тебе уже не узнать, разве что я стану твоим многословным орудием!

Ведь во мне плодятся не черви, но лишь самые долгие ноты!

Ведь я уже столько правил тебя, что теперь ты, пожалуй, отточен!

Ведь я уже полон бобов — и робких, и смелых!

Так что чувство, сокрушавшее по ночам мои бронхи, доставили сюда днём тайные прелаты, и если я бледен на рассвете, то виной тому моя работа; а если я побагровел на закате, то виновен в этом тот, кто работает. Поручкой тому и эта усталость, и эти потери, замечательные мои дядья и тётки. Поручкой тому и эта слеза, которую мне хочется выпить за счастье людей.

Сесар Вальехо, ну кто поверит,
что настолько твои запоздали родные,
если знать, что хожу я, как пленник,
ну а ты возлежишь на свободе!
О, блистательная и собачья судьба!
Сесар Вальехо, как я нежно тебя ненавижу!

Я смеюсь

Единственный булыжник, самый нижний,
пытается сдержать
гибельную дюну фараонов.

Воздух вздыблен множеством воспоминаний
и желаний.

Солнце закатилось и заткнулось
пирамидам за воротничок

Жажда. Гидранхолия блуждающего племени,
кап
по
кап
ле в час по чай-ной лож-ке

Три незапамятные Тройки
параллельнобородатые
вышагивают по порядку 3 3 3

Время — вывеска башмачной мастерской.

Время — босоногий марш

от смерти к смерти.